

А.А. ИВАНОВА

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Исследовательский процесс в области фольклористики может быть представлен в виде технологической цепочки, состоящей из нескольких этапов: *собрание* → *архивация* → *издание* → *изучение*. Их ролевая соотношенность исторически менялась в зависимости от задач, стоявших перед наукой о фольклоре.

Полевые исследования играли исключительно важную роль в развитии теоретической фольклористики во второй половине XIX — первой трети XX в. (в период ее становления и самоопределения в кругу гуманитарных наук, изучавших традиционную культуру). Они не только формировали ее информационно-текстовую базу, но и в значительной степени определяли вектор научных интересов (т.е. проблемное поле). Достаточно вспомнить, какие последствия имели опыты полевой фиксации и издания былин и сказок. Сборники П.Н. Рыбникова и А.Ф. Гильфердинга [23; 25], к примеру, не только спровоцировали волну исследований по героическому эпосу, но и способствовали формированию отечественной исторической школы, а группировка текстов внутри сборников не по сюжетам (как это было принято ранее), а по исполнителям инициировала в научных кругах интерес к проблеме исполнительства и сказительских школ. Региональные сказочные сборники этого же периода [12; 13; 24; 28 и др.] со всей очевидностью обозначили как одну из важнейших теоретических проблем проблему этнокультурных диалектов.

Важно отметить, что на этом этапе фольклористами осознавалась комплексность фиксируемого и изучаемого объекта, его органическая включенность в бытовую, социальную, хозяйственную и ритуальную сферы жизни русской деревни. Этим был продиктован интерес к публикации материалов в виде *энциклопедических компециумов* [9; 10; 11; 29 и др.]. И даже сборники, представлявшие фольклорную традицию фрагментарно (пожанрово), обыкновенно содержали пространственные вступительные статьи, в которых приводилась разнообразная информация о природно-географических, хозяйственных, исторических,

этнокультурных и диалектных особенностях представляемого региона.

Сбор и публикация полевых материалов в это время осуществлялись благодаря энциклопедичности знаний и умений отдельных исследователей (в их лице часто соединялись собиратель, издатель и теоретик — Д.К. Зеленин, Ю.М. и Б.М. Соколовы, М.К. Азадовский, А.И. Никифоров, И.В. Карнаухова и др.). Одной из первых удачных попыток полидисциплинарного изучения отдельных региональных культурных традиций следует признать экспедиции второй половины 1920-х гг. на Русский Север под руководством К.К. Романова, организованные секцией крестьянского искусства Государственного института истории искусств. В них приняли участие специалисты по народной архитектуре, фольклору, музыке, хореографии, театру (А.М. Астахова, И.В. Карнаухова, Е.В. Гиппиус, Н.П. Колпакова, З.В. Эвальд, Е.Э. Кнатц, В.Н. Всеволодский-Гернгросс и др.). Подготовленные по материалам экспедиционных записей сборники научных трудов (например, [16]) до сих пор остаются образцовыми в жанре комплексного полидисциплинарного исследования. Особенность последнего состоит в том, что оно выстраивается как соположение различных научных дисциплин в рамках одного исследовательского процесса. Достигается это тем, что целостный культурный объект (например, локальная песенная традиция) расщепляется на отдельные составляющие, каждая из которых описывается и интерпретируется с позиции определенной науки: словесная ткань песни изучается фольклористами-словесниками, музыкальный строй — этномузыковедами, кинетический код — хореографами и т.д. При этом разночтения, неизбежные по причине методологических, методических и прочих установок разнопрофильных специалистов, заложенные на начальной фазе исследования, на завершающей его стадии могут привести к тому, что сумма полученных «знаний» об объекте представляет его в искаженном виде. Избежать этого можно только в том случае, если действия исследователей будут согласованными и ориентированными на разнообразные формы взаимодействия (как это и произошло в случае с экспедицией под руководством К.К. Романова).

В 1930-е гг. в развитии отечественной фольклористики произошел решительный поворот в сторону монодисциплинарного изучения фольклора. Позиционировавшись как филологическая (точнее — литературоведческая¹) дисциплина, теоретическая фольклористика сосредоточилась на изучении жанровых форм, отвечающих критерию художественности. Соответственно, периферийные, маргинальные тексты с доминирующей информативной функцией (фольклор речевых ситуаций, несказочная проза и некоторые другие) выводились за объектное и предметное поля фольклористики. Это соответствующим образом повлияло на проблематику и методологию фольклористических исследований. Основным объектом изучения стал текст как таковой: его содержательные и формальные жанровые параметры. Функциональный же аспект фольклорной традиции по сути дела оказался сведенным к установлению вариативных границ фольклорных текстов и описанию типологии факторов, их определяющих. Игнорирование фольклорного контекста сделало фигуру исполнителя почти виртуальной (в лучшем случае она интересовала фольклористов с точки зрения типологической характерности — см., например, о классификации типов сказочников [26]).

Тенденция к установлению типологических закономерностей в ущерб конкретным фольклорным версиям распространилась и на ареальную фольклористику. Выделение этнокультурных зон на основе классических фольклорных жанров (заметим, в наименьшей степени ориентированных на этническую и географическую специфику) не могло не исказить картографировавшиеся результаты: так в науке появились очередные мифы о двух типах русской свадьбы — северной и южнорусской, о трех типах колыбельных песен, имеющих четко выраженные ареалы бытования, и т.п.

Изменения теоретических исследовательских установок имели для полевых изысканий серьезные последствия. Благодаря этим изменениям полевая фольклористика оказалась за пределами экспериментальной (поисковой) области научного знания и стала рассматриваться в качестве прикладной сферы, призванной расширить источниковед-

ческую базу «новой» теории фольклора. В результате методология и методика полевой работы оказалась в плену у идеи идентичности литературного и фольклорного процессов.

Этот период полевых исследований, длившийся почти столетия, Б.Н. Путилов охарактеризовал так: «В отечественной науке интерес к контекстным аспектам возник, когда она обратилась к живому, функционирующему фольклору и развернула полевые исследования. В сборниках и трудах, явившихся непосредственным результатом собирательской работы, можно найти немало сведений разного порядка, относящихся к обстоятельствам исполнения, восприятия текстов, поведения исполнителей и слушателей, к непосредственным и опосредованным связям текстов с ситуациями. При всем том собственно контекстная проблематика — в современном ее понимании — оставалась на периферии внимания фольклористов, она перекрывалась интересом к обобщениям, к выявлению типологии, к содержанию и общесоциальному звучанию фольклора. На первом плане стояла задача получения максимума текстов — в ущерб выявлению ситуаций их функционирования. Нередко записи лишь условно можно назвать полевыми, поскольку исполнение шло по заказу собирателя, и о реальном контексте можно было только спрашивать. Но и при записи в естественных условиях собиратели редко сосредоточивали внимание на фиксации контекстных данных, во всяком случае на более или менее полном их учете» [27. С. 126—127].

Кардинальным образом ситуация стала меняться лишь в последней трети XX в., когда на стыке различных научных сфер стали формироваться интердисциплины (этнолингвистика, лингвофольклористика и др.). Тем самым вчерашние научные «маргиналы» конституировались, приобрели определенный научный статус и стали существовать наряду с монодисциплинами, поразившими их.

Появление интердисциплин, с одной стороны, позволяло схватывать структурную сложность и многомерность фольклорной культуры, а с другой — выстраивать исследование на принципиально иной — междисциплинарной — основе. В отличие от моно- и полидисциплинарного междисциплинарное исследование берет изучаемый объект во всей его нерасчлененности, целостности. Это означает, что отдельные элементы изучаются в системных связях друг с другом. Такой тип комплексирования может быть охарактеризован как синтез.

В результате система границ в области научного знания о традиционной культуре значительно усложнилась, а объектное и предметное поля оказались многократно перекрестными и расширенными за счет зоны «периферийных» фольклорных форм. К тому же сама фольклорная культура в эти годы претерпела изменения онтологического свойства: перестроилась ее стратификационная структура (в том числе за счет городской среды); стали иными формы архивации, хранения, воспроизведения и ретрансляции фольклорных текстов [21; 22 и др.].

Образовавшийся за несколько десятилетий разрыв между постоянно меняющейся фольклорной реальностью и формами ее научного описания, презентации и интерпретации первыми почувствовали фольклористы, активно занимающиеся полевыми изысканиями. Именно они решились на новое прочтение природы фольклорного текста [2; 5; 17; 18; 31; 33; 34 и др.] и его контекстуальных связей [6; 8; 19; 27 и др.]².

Решительный сдвиг научных интересов полевики с исследования текста как такового и обращение к живой традиции (т.е. тексту в динамическом аспекте) были вызваны и тем, что к изучению фольклора начали применять теорию речевых и межкультурных коммуникаций. В результате не только заметно расширился спектр вербальных и паравербальных контекстов, попадающих в поле зрения собирателей, но изменился сам характер их фиксации. Запись не отдельных фольклорных текстов, а целостных интервью позволила установить реально существующие межтекстовые ассоциативные связи, на базе которых в конкретных локальных и индивидуальных репертуарах формируются гипертекстовые единства. Последние являются не только мощным стабилизатором фольклорной традиции как таковой, но и механизмом обретения ею разнообразных форм идентичности (региональной, локальной и проч.) [3; 14].

Изменение научного дискурса последних двух десятилетий XX в. в области изучения традиционной культуры не просто повысило значение полевых исследований, отвлекая им роль «творческой лаборатории», в которой уточняются или переосмысляются многие прежние положения теории фольклора и рождаются новые идеи, но и изменило status quo самой полевой фольклористики. Ныне она позиционирует себя не как прикладная ветвь теоретической фольклористики, а как самостоятельная междисциплинарная отрасль научного знания³, имеющая свой предмет изучения, свои методологические и методические установки, собственный научный тезаурус [1; 4; 20; 30; 32].

Примечания

¹ «Фольклор — одна из важнейших областей поэтического творчества, а фольклористика — одна из важнейших частей марксистско-ленинского литературоведения. К изучению фольклора должны быть применены все те основные методологические установки, которые применяются к литературоведению и искусствоведению вообще» [7. С. 92].

² Этому в немалой степени способствовали новые технические возможности фиксации и презентации фольклора.

³ В качестве примера междисциплинарного исследования, подготовленного на основе полевых исследований, можем привести монографию В.Н. Калущкова и А.А. Ивановой о «географических» песнях [15].

Литература

1. Актуальные проблемы полевой фольклористики. [Вып. 1]. М., 2002; Вып. 2. М., 2003; Вып. 3. М., 2004.
2. Гацук В.М. Текстологическое постижение многомерности фольклора // Современная текстология: теория и практика. М., 1997. С. 103—112.
3. Дианова Т.Б. Гипертекстовые единства в живой фольклорной традиции // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2002. С. 68—74.
4. Дианова Т.Б. Полевая фольклористика // Программы общих и специальных курсов. М., 2004. С. 77—83.
5. Дианова Т.Б. Жанровое пространство фольклора: изменение научной парадигмы // Первый всероссийский конгресс фольклористов. М., 2005. С. 372—384.
6. Дианова Т.Б. Текст и контекст в фольклоре // Славянская традиционная культура и современный мир. М., 2005. С. 15—21.
7. Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период // Литература и марксизм. 1931. Кн. 5, 6.
8. Добровольская В.Е. Роль контекста в бытовании и реконструкции фольклорного текста // Традиционная культура. 2004. № 3. С. 46—55.
9. Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник // Записки Русского географического общества. Т. 27. СПб., 1903.
10. Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Тр. Этнограф. отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Кн. 5. Вып. 1—2. М., 1877—1878.
11. Забылин М. Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880. (Репринт. переизд.: М., 1989).
12. Зеленин Д.К. Великоорусские сказки Пермской губернии // Записки Русского географического общества. Т. 41. Пг., 1914.
13. Зеленин Д.К. Великоорусские сказки Вятской губернии // Записки Русского географического общества. Т. 42. Пг., 1915.
14. Иванова А.А. Гипертекстовые системы как феномен локальной фольклор-

ной традиции // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера. Материалы IV междунар. науч. конф. «Рябининские чтения — 2003». Петрозаводск, 2003. С. 31—33.

15. Калущков В.Н., Иванова А.А. Географические песни в традиционном культурном ландшафте России. М., 2006.

16. Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Вып. 1. Л., 1927; Вып. 2. Л., 1928.

17. Лобкова Г.В. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность. СПб., 2000.

18. Мехнецов А.М. Фольклорный текст в структуре явлений народной традиционной культуры // Музыка устной традиции: Материалы междунар. науч. конф. памяти А.В. Рудневой. М., 1999. С. 178—190.

19. Морозов И.А., Старостина Т.А. Ситуативные факторы порождения фольклорного текста // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Вып. 2. М., 2003. С. 12—26.

20. Наука о фольклоре: междисциплинарные взаимодействия // Материалы междунар. науч. конф. М., 1998.

21. Неклюдов С.Ю. После фольклора // ЖС. 1995. № 1. С. 2—4.

22. Неклюдов С.Ю. Устные традиции современного города: смена фольклорной парадигмы // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Вып. 2. Окленд, 1997. С. 77—88.

23. Онежские былинны, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 г. СПб., 1873 (2-е изд.: Т. 1—3. СПб., 1894—1900; 4-е изд.: Т. 1—3. М.; Л., 1949—1951).

24. Онучков Н.Е. Северные сказки // Записки Русского географического общества. Т. 33. СПб., 1908.

25. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. М., 1861—1867. (2-е изд.: М., 1909—1910; 3-е изд.: Петрозаводск, 1989—1991).

26. Пропт В.Я. Вопрос о типах сказочников // Он же. Русская сказка. Л., 1984. С. 326—328.

27. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In: *Методы*. СПб., 2003.

28. Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915.

29. Терещенко А.В. Быт русского народа. СПб., 1848.

30. Типология фольклорной традиции: актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2004.

31. Толстой Н.И. Вторичная функция обрядового символа // Он же. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 167—184.

32. Черединова М.П. Основные проблемы полевой фольклористики в современных условиях // Основы полевой фольклористики. Вып. 1. Ульяновск, 1997. С. 6—13.

33. Чистов К.В. Специфика фольклора в свете теории информации // Типологические исследования по фольклору. М., 1975. С. 26—43.

34. Чистов К.В. Поэтика славянского фольклорного текста. Коммуникативный аспект // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Материалы VIII междунар. съезда славистов. Доклады советской делегации М., 1978. С. 299—327.

А.Б. МОРОЗ

ЗАМЕТКИ «ИНКВИЗИТОРА»¹:

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ

В октябре 2006 г. на проходившей в Сербии конференции «Славянский фольклор и фольклористика на рубеже тысячелетий», задачей которой организаторы видели подведение итогов работы славянских фольклористов за XX в., один мой московский коллега демонстрировал видеозапись лечения у знахарки. Лечили студентку, участницу экспедиции, сам же коллега снимал. После показа докладчик имел неосторожность заметить, что запись сделана скрытой камерой, хотя это не совсем соответствовало действительности: камера, совершенно обычная и не самая маленькая, вовсе не была скрыта, хотя внимания знахарки на то, что ее снимают, никто специально не обращал. Упоминание скрытой камеры начисто убило интерес к самому процессу заговаривания, прекратило начавшееся было обсуждение и перевело разговор в совершенно иную сферу — о правомерности использования в полевой работе скрытой и даже вполне явной, но специально не оговоренной камеры. Точки зрения присутствующих распределились с полной предсказуемостью: чешские, словенские и хорватские фольклористы возмущались вопиющим фактом вторжения в личное пространство информанта; сербские, болгарские, украинские, белорусские и русские — напротив, преимущественно продемонстрировали непонимание проблемы или равнодушие к ней. Действительно, ставшее в западной антропологии и этнологии совершенно обычным получение письменного согласия информантов на запись и публикацию полученных от них сведений уже прижилось в части славянских стран, теснее контактирующих с Западом, но по-прежнему вызывает недоуменную улыбку у восточнославянских и части южнославянских исследователей.

Незапланированная, но жаркая дискуссия выявила множество вопросов, ответа на которые так и не нашлось (да и вряд ли универсальный ответ существует), однако сама постановка и обсуждение их чрезвычайно важны. На полгода раньше эту тему в России, кажется впервые, широко поднял журнал «Антропологический форум», предложив авторам высказаться по поводу этических проблем, возникающих во время полевой работы (2006, № 5). Не написав в свое время ответов на АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ МОРОЗ, канд. филол. наук; Российский гос. гуманитарный ун-т (Москва)

вопросы редакции журнала, я всё же попытался их для себя сформулировать. Впрочем, всё изложенное ниже представляет собой скорее «протокол о намерениях», нежели конкретные правила, поскольку на практике этнолог (фольклорист, антрополог и т.д.) всегда вынужден исходить из той ситуации, в которой протекает его работа, и в каждом конкретном случае отвечать для себя на эти вопросы заново, а может быть, и по-новому, расстояние же от «протокола о намерениях» до реальной практики крайне велико. В немалой степени это расстояние определяется подчас кардинальным различием во взгляде на вещи, в том числе на суть и предмет полевой работы, у исследователя и информанта. Этот очевидный для любого, кто занимается полевыми исследованиями, факт зачастую остается за рамками дискуссии об этике полевой работы. Т.Б. Щепанская в статье об экспедиционном фольклоре (фольклоре фольклористов и этнологов) говорит о его «распространенном мотиве»: «информанты не понимают целей исследователей» или «не могут их идентифицировать (понять, кто они такие)»² — эта проблема зачастую встает в реальной полевой практике. В этом случае работают вполне стереотипные модели восприятия собирателя информантом, основанные на идентификации исследователя с представителем более очевидного рода деятельности. Так, при работе в деревне среди наиболее частых моделей можно упомянуть такие: собиратель-фольклорист воспринимается как участник фольклорного ансамбля (жители деревень удивляются, услышав, что участники экспедиции не будут петь в клубе), как скупщик старинных («Вы старые монеты/вещи/иконы принимаете?» — нередко приходится слышать на улице), а то, еще хуже, как ее любитель, высматривающий где что плохо лежит. Из постепенно уходящих в прошлое моделей всё еще можно услышать про себя, что ты шпион или (без указания на род твоей деятельности) что ты передашь полученные сведения и информанта *заберут*³. Легче студентам — статус студента, которого *направили* на практику, вполне удовлетворяет недоумение информантов. Дальнейшее не конкретизируется. Цель работы фольклориста-этнолога тоже часто вызывает недоумение. Рассуждения о фольклорных архивах, книжных, журнальных публикациях мало кого трогают, и смысл полевой работы изме-